**ТОЛСТОЙ:**

**создание романиста**

**ЭДВАРД КРАНКШОУ**

# **Введение**

Лев Николаевич Толстой был недоволен тем, что стал величайшим романистом мира; он стремился к гораздо большему — к званию великого философа и учителя. Это было странное честолюбие для человека мощного ума, который большую часть своей жизни настолько боялся смерти, что не мог мыслить ясно; который, одновременно, был настолько неукротим в своих притязаниях, что с гневом отвергал условия жизни, неизбежно заканчивающейся смертью, и отказывался покориться рамкам, что охватывают всю философию и всё величие человеческого духа. Его самомнение было сравнимо с падением Люцифера, а его тщетные попытки сбежать от реальности выглядели жалкими и неуклюжими.

Когда он оправился от суицидальной депрессии, вызванной в значительной степени напряжением от создания его шедевров — «Войны и мира» и «Анны Карениной», и, в пятьдесят один год, написал знаменитую «Исповедь», он представил себя как изменившегося человека. В этом эссе, описывая великие перемены, которые произошли с ним, он говорил: «Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления». Это было весьма характерно для Толстого — возводить такое обычное и банальное чувство о бессмысленности жизни в нечто драматичное, как внезапное откровение, хотя оно преследовало его с юности. Также характерно, что он видел эту злую шутку как обрушившуюся на него, Льва Толстого, в личной обиде. Чуть позже он всё же заметил, что мы все в одной лодке, приводя в свидетельство Соломона («или того, кто написал сочинения, приписываемые ему»), Шопенгауэра, Сократа и Будду; но первая формулировка идеи, что преследовала его до конца долгой жизни — и можно с уверенностью сказать, что это выражение «пришло к нему само» — выражала непосредственное чувство личного возмущения.

Характерным было и то, что личность Толстого, подкреплённая его авторитетом как романиста невообразимого масштаба, производила столь мощное впечатление, что, когда в зрелом возрасте он начал проповедовать и, словно гневный и презрительный старый моряк, обращался к миру, многие спешили провозгласить его великим и революционным учителем. Они делали это, несмотря на то, что лучшее из его учений, которое он преподносил с видом ветхозаветного пророка, в основном состояло из различных элементарных истин и полуистин, которые были известны и применялись многими выдающимися умами, включая бесчисленное множество безымянных людей, на протяжении двух с половиной тысячелетий — и несмотря на то, что он так и не смог воплотить собственные идеи в своей жизни, пока его жизненные силы окончательно не иссякли, и он не оказался неспособным ни на что, кроме как убежать от всего и умереть на маленькой станции на Московско-Харьковской железной дороге.

Его величие лежало в другом. Все знают об этом. Оно ярким сигналом надежды озаряет столетие человеческих страданий: точка ориентира, памятник человеку, который отказался верить в то, что для большинства из нас представляется надеждой, восклицание жизни от человека, отвернувшегося от неё. Всё это сделано через искусство, то самое искусство, которое он утверждал, что презирает. Человек, носивший бремя этого достижения, как человеческое существо был неудачником, с которым было невозможно ужиться, в чём-то ужасен, в другом смешон, а в чем-то великолепен. Сияние его удивительного гения было отражением света, слишком яркого, чтобы его собственные глаза могли это вынести. Он выкрикивал свою боль и пытался затянуть в неё всех, кто был готов его слушать, указывая не на свои триумфы, а на бездну.

Толстой не был великим человеком в полном и всестороннем смысле этого слова; никто не найдёт утешения, ободрения или примера в его жизни, если рассматривать её целиком. Но он был гигантом. Всё в нём было чрезмерно — его добродетели не менее, чем его недостатки. О Толстом нельзя говорить с целью развенчания: за исключением роли мыслителя, он сам себя развенчал. Наряду с многочисленными глупостями, написанными о его философских взглядах, шёл непрерывный процесс прояснения, начавшийся с русских — Льва Шестова и Константина Леонтьева, затем продолжившийся через Максима Горького и Б. Эйхенбаума к недавним трудам Джона Бэйли и Элизабет Ганн. Однако мне кажется, что даже эти и другие проницательные критики (с возможным исключением хладнокровного, не моргающего Шестова) иногда были полу-гипнотизированы объемом этой личности и непреклонным резонансом этого колоссального голоса, принимая слишком многое за чистую монету, возможно, начиная с неправильного конца. В сущности, они говорят: «Как поразительно, что у столь великого человека могли быть такие слабости». Это отношение прекрасно выражено в образе Эдипа у Исаии Берлина, завершающих словах в «Ёж и лисица»: « Неимоверно гордый — и в то же время исполненный ненависти к себе самому, всезнающий — и сомневающийся во всем, хладнокровный — и обуреваемый страстями, высокомерно-презрительный — и склонный к самоуничижению, истерзанный переживаниями — и невозмутимый, окруженный обожающей его семьей, боготворящими последователями, согретый восхищением целого белого света — и почти всецело одинокий, Толстой — самый трагический средь великих писателей, отчаявшийся старец, коему никто уже не в силах помочь; ослепивший себя и скитающийся в окрестностях Колона."

Но Толстой был не всегда старым человеком. Он начал писать «Войну и мир» в тридцать пять лет и закончил её к сорока. И хотя впереди его ещё ждала «Анна Каренина» и ему предстояло прожить ещё десять лет, прежде чем он достиг окончательного, мучительного, так и не завершённого превращения из художника в пророка, он уже раскрыл свой гений и задействовал все элементы, которые впоследствии сделали его бородатым патриархом, каким мы его знаем. Возможно, чтобы глубже понять его возвышенный гений и ограничения, которые с ним шли, нам стоит оторвать глаза от сурового взгляда этого измученного и жестокого старца, о котором рассказано столько раз, и попробовать увидеть его таким, каким он был до того, как стал мировой фигурой: граф Лев Николаевич Толстой, родившийся 28 августа 1828 года, четвёртый сын графа и графини Толстых из Ясной Поляны в Тульской губернии.

# **Семейная иддилия**

Россия, в которой родился Толстой в 1828 году, была той самой Россией, что он описал почти сорок лет спустя в своем эпическом произведении «*Война и мир*». Александр I, покоритель Наполеона, умер менее чем за три года до его рождения, и многие из тех, кто был близок к Александру, теперь окружали его младшего брата, нового императора Николая I. Таким образом, когда Толстой описывал министра-реформатора Михаила Сперанского в разгар его славы, он писал о человеке, который все еще был жив и оставался активной политической фигурой на протяжении его собственной жизни. Пушкин в 1828 году исполнилось двадцать девять лет, он был неженат, ему оставалось пробыть на этом белом свете всего девять лет; когда Толстому исполнилось три года, «*Евгений Онегин*» Пушкина был впервые опубликован.

Так велико умение Толстого создавать эффект исторической дистанции, что времена 1812 года кажутся нам далёким прошлым, хотя на самом деле для многих читателей его романа, когда первые тома вышли в свет в 1865 году, описанные события были частью их детских воспоминаний. Некоторые из них сами участвовали в Бородинской битве или пережили пожар Москвы. Отец Толстого, например, был пленён французами.

Русское общество и русская земля оставались практически неизменными со времён наполеоновских войн вплоть до великих реформ, особенно до отмены крепостного права в 1861 году, когда Толстому было тридцать три. Здесь преемственность была полной, и Толстой с детства, юности и в раннюю взрослую пору был её частью. Крестьяне, о которых он писал в «*Войне и мире*», были такими же, как крестьяне в его собственном имении в Ясной Поляне; высшее общество Петербурга 1812 года — это то же высшее общество, которое он встречал, испытывая одновременно и притяжение, и отвращение, как неловкий и небогатый молодой аристократ, ища себе путь в жизни. Это была страна помещиков и крестьян, управляемая централизованной бюрократией, которая, по теории, была безоговорочно послушна самодержцу-императору. Мыслящая интеллигенция лишь начинала зарождаться. Крестьяне были на правах рабов. Часто их хорошо кормили, они были ухоженными и порой даже изнеженными рабами. Но хозяева могли делать с ними что угодно — бить их, запирать, ссылать в Сибирь, продавать, разлучая с семьями, (хорошая собака стоила дороже), отправлять их на военную службу (срок которой составлял двадцать пять лет, что фактически означало пожизненное заключение), принуждать к браку или запрещать жениться.

Не все крепостные были крестьянами, привязанными к земле; далеко не все. Даже в небольших поместьях крепостные-слуги могли достигать высокого положения, становясь приказчиками, экономами, ключницами или няньками, обретая статус доверенных лиц семьи, как это описал Пушкин. В больших поместьях часто существовали крепостные театры и оркестры. В имениях таких могущественных дворян, как Шереметьевы, владевшие 200 тысячами крепостных на момент освобождения, одарённых крепостных обучали за большие деньги пению, игре на инструментах, актёрскому мастерству и даже архитектуре, и они обретали широкую известность. Но все они оставались крепостными и были в полной власти своих хозяев, которые могли в любой момент отправить их обратно на черные работы. Исключение составляли только те, кто мог выкупить свою свободу. Обычно это были крепостные, обладавшие талантом к торговле или управлению заводами и фабриками, (на которых тоже работали крепостные), и сумевшие добиться такого успеха, что становились достаточно богатыми, чтобы купить свою свободу по цене, которую хозяева не могли отвергнуть. Когда Толстой родился, именно такие люди уже начинали формировать новый купеческий и буржуазный класс, особенно в Москве и губерниях, но гораздо меньше в Петербурге. Однако в детстве Толстой знал об этом немного и относился с неприязнью к этому городскому субкульту, предпочитая старый патриархальный мир древних аристократических семей и их крестьян-рабов.

Его формирование и мировоззрение были предопределены этим фоном. Он всегда оставался аристократом, но с годами стремился сблизиться с единственным другим классом, который он знал — с крестьянами, которые, как ему казалось, были сердцем и душой земли, принимая свою судьбу с безмолвным терпением и обретая тем самым величие и достоинство, которых не хватало блестящему светскому обществу, живущему за их счёт. Всё это было столь же истинным или ложным для России Толстого, как и для России «Войны и мира». В романе он идеализировал русского крестьянина, противопоставляя глубокую веру и инстинктивную мудрость России суетному тщеславию «великих людей», которые полагали, что они что-то решают. Он игнорировал милосердие и общественный дух, которые можно было найти у многих в высших кругах, равно как и моральную убогость, коррупцию и жестокость, царившие во всей российской системе, отвратительные стороны крепостничества и далеко не безответную эгоистичность и грубость крестьян, которые постоянно вспыхивали всплесками безумного насилия.

На первый взгляд, раннее детство Толстого было идиллическим. До девяти лет он не выезжал за пределы Ясной Поляны, которая была для него целым миром, раем для детей. Дом представлял собой большую, окрашенную в белый цвет, деревянную усадьбу, построенную дедом Толстого графом Волконским в классическом стиле в духе времен Екатерины. Усадьба имела тридцать четыре комнаты и была окружена длинной берёзовой аллеей. Земли имения простирались на несколько миль вокруг: открытые, живописные поля чередовались с рощами и спускались к реке Воронке с купальней, а затем терялись в тенях огромного леса Засека, где водились волки. Вход в аллею украшали маленькие белёные башенки, задуманные как сторожки. Они выглядели немного комично, но внушительно, держали внешний мир на расстоянии.

Дом стоял на живописной земле центральной России — мягкой, холмистой, где горизонты помечены, но не закрыты, синими лесными полосами. Имение располагалось недалеко от Тулы, столицы губернии, известной производством самоваров и охотничьих ружей. Рядом с имением проходила главная дорога из Москвы в Киев, и здесь же вскоре должны были провести новую железную дорогу из Москвы в Курск. В такй же местности, в шестидесяти милях к югу, у Орла, находилось большее имение Спасское, где под тиранической рукой своей матери, вдовы, управлявшей пятью тысячами душ, вырос Тургенев. Эти края были краем «*Записок охотника*», а соловьи Орловщины и Тульщины поют и по сей день. Стоит вспомнить, что именно Мценск стал местом действия жестокой и кровавой деревенской трагедии Николая Лескова, которая позже была превращена Шостаковичем в оперу *Леди Макбет Мценского уезда*, впоследствии переименованную в *Катерину Измайлову*.

Дом Толстых был далёк от роскоши, и большая часть мебели представляла собой предметы, изготовленные прямо в имении. На стенах висели грубоватые портреты предков Волконских. Пространства было предостаточно для пятерых детей и их друзей, чтобы играть в самые шумные игры. На подворье и в конюшнях стояли лошади и собаки — русские борзые и гончие, пони, повозки, сани и большой дорожный экипаж. Помимо реки, были пруды, в которых можно было ловить рыбу. Всегда рядом находились кучера, конюхи и лесники, у которых дети учились всему, что могли. Крестьяне-крепостные трудились в полях, и дети могли наблюдать за их работой.

Жизнь детей была подчинена медленному и мощному ритму огромной равнины: короткое, знойное лето и напряжённая деятельность в полях сменялись долгими тёмными зимами, когда вся работа в полях замирала. В промежутках выпадали осенние дожди и весенние паводки, которые на недели превращали дороги в непроходимое месиво. В строго автобиографических текстах Толстой, удивительно, оставил совсем немного упоминаний о тёмных зимних днях, проведённых взаперти в доме, хотя и описал, как увлекательно было кататься на санях по замерзшему снегу на полном скаку, когда копыта лошадей выбивали ледяные брызги. Он мало писал и о чудесном дыхании весны, когда первая заворковавшая птичка, первый зелёный росток, пробивающийся сквозь уплотнённый снег, несут обещание — больше того, прямое заявление — бурного возрождения природы. Почти мгновенно вся земля наполняется звуком бегущей воды, сначала скрытой под настом, затем проступающей, набухающей и смывающей его прочь.

Толстой часто вспоминал летние дни своего детства: время, мягко говоря, было привилегированным. Но в этом детстве не было матери. С годами Толстой возвёл культ своей утраченной матери, которую почти не помнил. Она олицетворяла в его воображении идеал всеобъемлющей любви, чистоты, святости, которые, как он убеждал себя, были достижимы для человека, если только знать, как их обрести. Часть побуждения к созданию этой легенды сродни тому, что в «Войне и мире» заставило его представить крестьянина Платона Каратаева как воплощение добродетели и мудрости, якобы недостижимой для тех, кто не был рожден крестьянином. Подобным образом он превратил реального маршала М. И. Кутузова, героя 1812 года, известного своей праздностью и порочностью, в олицетворение глубоких русских добродетелей, так как противопоставить Наполеону, который считал себя свободным агентом своей судьбы и полагал, что управляет ходом истории, Толстому нужно было мудрого старца, понимающего всю тщетность таких претензий.

Это не значит, что мать Толстого не была ни доброй, ни любящей: она, без сомнения, была и тем, и другим. Но она также была опытной хозяйкой, управлявшей своим маленьким «королевством» и далеко не являлась святой, каковой её представлял себе Толстой. Если бы она прожила дольше, мальчику неизбежно пришлось бы столкнуться с её строгим нравом. Она была умна, добра, но не простодушна; её суровость смягчалась огромными и прекрасными глазами, которые, как у многих русских женщин, казались зеркалом бесконечного понимания и стойкости, не всегда соразмерными интеллектуальным способностям. Она не терпела безделья и придерживалась строгих взглядов на воспитание детей. Она верила, что нужно быть жестокой, чтобы воспитать доброту. Она также верила, что маленькие мальчики должны учиться вести себя как мужчины. Когда её старший сын Николай заплакал, увидев, как собаку с переломанной лапой подвесили, чтобы облегчить её страдания, мать, обожавшая его, испытала шок и стыд и набросилась на него с упрёком: мальчики не плачут и не должны плакать. Самого Льва братья и тёти прозвали ревой, потому что он, всегда пребывая на грани эмоционального всплеска, начинал плакать по десятку раз на день. Матери было бы трудно, если бы вообще возможно, мириться с этим, и Толстой знал это, когда описывал её. Он был слишком честен, чтобы это не упомянуть. Однако при этом ему было необходимо представить её как образец чистейшей доброты и нежности, скорее поддержать эту концепцию, чем личность. Таким образом, образ матери в «Детстве, отрочестве и юности» всегда остаётся неясным, неуловимым, на фоне резко очерченных, ярких образов, выведенных с натуры. Эта воображаемая мать почти лишена очертаний, так и не приобретает четкость.

Настоящей матерью для Толстого с младенчества была его тётя Татьяна — Татьяна Андреевна Ергольская, сильнейший источник доброты в его жизни, которая смогла сохранить его привязанность и олицетворять разум и нравственность в его сложные ранние годы взрослой жизни, тогда как настоящая мать, проживи она дольше, едва ли могла бы сделать это. Безусловно, у тёти Татьяны было все, что нужно для святости, но эта святость была весёлой и приземлённой. Весёлая, маленькая, чёрноглазая, с быстрыми загорелыми руками, она вела жизнь, наполненную незаметным и эффективным служением близким людям. Она была не родной тётей, а двоюродной сестрой отца Толстого, сиротой и бедной девушкой, которую в детстве взяли на воспитание в дом его бабушки и дедушки. Со временем она влюбилась в Николая, сына хозяев дома, как Соня в «Войне и мире», тоже сирота, полюбила Николая Ростова. Подобно Соне, которая была смоделирована с неё, тётя Татьяна отдала своего Николая, но сделала это с радостью, зная, что он был обязан вступить в брак, выгодный для семьи. Позже, когда Николай овдовел, а дети оказались под опекой его старой матери, он действительно предложил Татьяне выйти за него замуж и посвятить жизнь его детям. Брак она отвергла, но с радостью пообещала заботиться о детях, пока в этом будет нужда. Так она и сделала.

Много позже, в старости, Толстой напишет, что тётя Татьяна прежде всего научила его «духовному наслаждению любовью. Она не учила меня этому словами, но её сущность была пронизана любовью, и я чувствовал, как она получает от неё радость». Тётя Татьяна, будь на то её воля, выразила бы это несколькими короткими, резкими словами, ибо такое понимание любви противоречило её натуре. Урок, который она преподала в своих поступках, так и остался неусвоенным юношей, молодым мужчиной и зрелым человеком, стремившимся к вселенской любви, но так и не научившимся по-настоящему любить тех, кто был ближе всего. Та любовь, которую она ему дарила, имела гораздо более высокое качество, чем бездумное благодушие и детская наивность, которые проецировал старик в своих воспоминаниях. Тётя Татьяна прекрасно понимала путь, который она выбрала, как понимала, что делает, когда сначала отказалась от Николая, а затем, годы спустя, отказала ему в браке. Она любила близких за то, что они собой представляли, а это порой причиняло ей боль. Она продолжала любить молодого Толстого, всегда была рядом, когда он нуждался в ней, и никогда не упрекала его, хотя ей приходилось терпеть немалые душевные терзания, когда он становился невыносимым и порой отвратительным молодым человеком, приходя к ней, охваченный чувством вины, после беспокойных ночей с проститутками и крестьянками, чтобы очиститься у её непоколебимого, бесконечно прощающего источника, зная, что она знает обо всём этом, понимая, что ей, должно быть, это больно, и осознавая, что, что бы он ни делал, он всегда останется для неё Лёвочкой, которому, как она считала, необходимо позволить найти свой собственный путь.

Всё это Толстой мог записать с той верностью истине, которая, несмотря ни на что, была его истинным путём, — и в то же время он почти одновременно мог приуменьшить мужественную реальность её любви, перенеся на неё своё вечное стремление вернуться в лоно — или, по крайней мере, в детскую колыбель. Тётя Татьяна не была прирождённой няней: это была проницательная взрослая женщина с замечательным характером, которая была также добродетельной. Она не была пуританкой. Именно она, безуспешно, пыталась побудить его завести роман с замужней женщиной, чтобы научиться цивилизованным манерам. Вполне возможно, что молодой Толстой испытывал потребность в матери, которая была бы менее проницательной и понимающей, чем тётя Татьяна, и в то же время более требовательной и строгой, и что именно этот недостаток стал причиной его фиксации на матери, проявляющейся на протяжении всей его жизни и порой усиливающей его властное поведение, подтачивая его брак и в конце концов оборачивающейся одиноким криком о помощи в его преклонные годы.

Это было оживлённое и тесное хозяйство в детские годы Толстого. Бабушка Толстого, урожденная княжна Пелагея Горчакова, была матриархом. Настоящая дама старой школы, она запомнилась как внушительная, но в основном добрая хозяйка дома в Ясной Поляне, проводившая большую часть времени в своих покоях. Дети по очереди ночевали с ней, слушая вместе с ней, когда она готовилась ко сну, бесконечные рассказы старого крепостного сказителя, сидевшего на табурете в тёмном углу, совершенно слепого и потому не смущавшего старую даму. В *Отрочестве* она предстает в своей московской гостиной, принимая поздравления на именинах, в сцене, напоминающей детально прорисованное изображение приёма мадам Шерер на первых страницах Войны и мира.

В доме также жила настоящая тётя Толстого, сестра его отца Александра, которая была немного слабоумной. Она пережила два болезненных, но почти успешных покушения на её жизнь со стороны мужа, сошедшего с ума в первые дни их брака. Она была беременна в то время, и её ребёнок родился мёртвым. Чтобы оградить её от последующего шока, который мог бы оказаться смертельным, дочь одной из семейных крепостных была подменена и также воспитывалась в Ясной Поляне. Именно тётя Александра с её мягким религиозным помешательством привлекала в дом бесконечную череду нищих паломников и странствующих юродивых, очень много которых странствовали по русским землям XIX века, пользуясь, притесняя и шантажируя морально более устойчивых, чем тётя Александра. Гриша из *Детства*, который то унижался, то хулиганил, был прекрасным примером такого типа.

Но хозяйством руководила тётя Татьяна, полностью взявшая на себя заботу о детях в их младенческие годы. Первый кризис для маленького Толстого наступил, когда в пять лет его перевели из детской, от компании девочек и защиты тёти Татьяны, в учебный класс, где он должен был работать и играть со своими старшими братьями Николаем, Сергеем и Дмитрием под руководством добродушного, но комичного немецкого учителя, Фёдора Ивановича Росселя. (Этот учитель стал прототипом Карла Иваныча в *Отрочестве* с его вечной любовью к трём своим самым ценным книгам: трактату по гидростатике, случайному тому о Семилетней войне и монографии о капусте.) Переход из детской в учебный класс — переломный момент в жизни каждого маленького мальчика: живот сжимается, нервы трепещут от страха, маленький ум предвкушает мрачные перспективы. Но для Толстого этого было недостаточно. Этот выдающийся драматург, скрывавший себя под видом бесстрастного летописца событий, мастер преувеличения, замаскированного под преуменьшение, должен был ретроспективно усиливать драму своего детского дебюта: «Впервые я понял, что жизнь — это серьёзное дело», — писал он. Это совершенно не детские мысли — даже не мысли маленького Толстого. Впоследствии представится случай подробнее рассмотреть мастерство, с которым Толстой использовал этот трюк — преувеличение, замаскированное под преуменьшение, — заставляя людей верить всему, чему он хотел, чтобы они верили, или искажая характер, между делом упоминая о каком-нибудь неприятном физическом недостатке, точно выбранном и представленном в нарочито небрежной, ненавязчивой манере. Но именно здесь, когда он оглядывается на свое детство, выходя из детской, мы впервые сталкиваемся с этим приемом. Это не случай старика, с ностальгией вглядывающегося в далекое прошлое. Детство было первым опубликованным произведением молодого человека двадцати четырех лет.

В следующем десятилетии происходит не так много событий, которые нуждаются в подробном описании. Если маленький Лев в тот волнующий день 1833 года внезапно проникся серьёзностью жизни, то вскоре он об этом напрочь забыл и на следующие четыре года жил жизнью, ничем не отличавшейся от жизни бесчисленных других мальчишек, росших в легкой, неупорядоченной свободе русского загородного дома, забитого до отказа слугами, родственниками и всевозможными знакомыми. Братья были чрезвычайно дружны. Николай, которому было десять, когда Льву было пять, был естественным лидером и зачинщиком всех их игр: это был мальчик с выдающимися природными дарованиями, живым и добрым воображением, прирожденный мистификатор и неутомимый сказочник. Именно он придумал легенду о зелёной палочке, закопанной в лесной роще, на которой будто бы были вырезаны слова, несущие секрет жизни: когда-нибудь палочку найдут, и все человечество заживет в совершенном мире и согласии, без всяких распрей. Но, несмотря на лидерство Николая, индивидуалистом оставался младший Сергей, который был ближе Льву по возрасту и стал для него кумиром. Именно на Сергее — на человеке, который совершенно не страдал самосознанием, который мог делать то, что он хочет, не заботясь о том, что думают другие, а также обладал удивительным талантом точно понимать свои сильные и слабые стороны и принимать их — пытался равняться младший брат, бесконечно самокритичный, сложный и противоречивый.

По мере взросления Льва в нём проявились особые черты — крайняя чувствительность к боли, сочетающаяся с почти всепоглощающей способностью испытывать радость. Радость буквально переполняла его: когда жизнь казалась прекрасной, он и весь мир вокруг него становились преображёнными. Именно это качество радости, незамедлительный отклик на магию окружающей вселенной, сияющей красками, проникнутой чувством пространства и торжественной тишины, присущими некоторым фламандским мастерам, стало выражением его зрелого творчества. Представьте ребёнка, который впервые заглядывает в гнездо дрозда: как юный Моцарт, которого почти невыносимо трогали чистые, звучные тона трубы, так и ребёнок, потрясённый до слабости, замирает от невиданных оттенков синевы у этих столь обыкновенных яиц, блестящих, таинственных и живых, согретых своими тёмными крапинками. И это видение усиливается и обостряется множеством тёплых запахов: запахом запылённой коры, терпко-сладким запахом свежей зелени, затхлым запахом увядших трав в гнезде, удушливым запахом грязи и помёта, выстилающих гнездо, слабым удушливым запахом птицы и её перьев. В этот момент откровения, который уже не повторится в точности в таком виде — хотя могут быть и другие похожие откровения, пока чувства окончательно не упорядочатся и не приспособятся к воспроизведению обычных схем, — ребёнок оказывается в первой неделе сотворения мира. Толстой сохранял эту детскую ранимость, присущую, в какой-то степени, всем людям искусства, на протяжении всей своей жизни. Его впечатления всегда были уникальны по своей силе, изолированность его опыта лишь возрастала из-за почти чудовищной непосредственности воздействия каждого аспекта окружающего мира на чувства ребёнка, а затем и взрослого человека, чьи нервы всегда были обострены до предела.